

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ	3
РЮИ БЛАЗ	123

Объяснить происхождение этой книги можно двумя способами. Может быть, и в самом деле нашлась пачка листов, пожелтевших и неровных, на которых записывались одна за другою мысли несчастного, а может быть, и встретился человек: мечтатель, наблюдающий природу ради пользы искусства; философ; поэт, — вероятно, у которого эта мысль превратилась в каприз, в фантазию, который взял ее, или лучше сам отдался ей и не иначе мог отвязаться от нее, как бросив ее в книгу.

Пусть из этих двух объяснений читатель изберет, какое ему более понравится.

I

Бисетр

Приговорен к смерти!

Вот уже пять недель, что я живу с этой мыслью, всегда один с ней, всегда объятый холодом от ее присутствия, всегда согбенный под ее гнетом.

Когда-то — мне кажется, с тех пор прошли годы, а не недели, — я был человек как человек. Дни, часы, минуты имели свою определенную мысль; дух мой, молодой и богатый, был полон фантазий. Он любил развивать их передо мною без связи и без конца, рисуя неисчерпаемые арабески на грубой и тощей ткани жизни. То были все молоденькие красавицы, блестящие епископские мантии, выигранные битвы, театры, залитые шумом и светом, а потом опять красавицы и темные прогулки ночью под широкими объятиями каштанов. Был всегда какой-то праздник в моем воображении; я мог думать о чем хотел, я был свободен.

Теперь я в неволе. Тело мое заковано в тюрьме; ум в плену у мысли, ужасной, жесткой, неумолимой мысли! Одна у меня только идея, одно убеждение, одна непреложная истина: приговорен к смерти!

Что бы я ни делал, она всегда тут, эта адская мысль, стоит около меня, как свинцовый призрак, одинокая, ревнивая, отгоняющая всякое развлечение, стоит лицом к лицу со мною, несчастным, и теребит меня ледяными руками, когда я захочу отвернуть голову или закрыть глаза. Она вкрадывается под разными видами всюду, где ум мой хотел бы ее избежать, пришеивается, как ужасный припев, ко всем словам, с которыми ко мне обращаются, прилипает вместе со мною к отвратительным решеткам моего каземата, не отстает от меня, когда я бодрствую, стережет мой судорожный сон и снится мне в виде ножа.

Пробуждаюсь, вскакиваю, преследуемый ею и утешая себя, что это только сон! И что же? Еще мои отяжелевшие веки не успеют раскрыться настолько, чтоб увидеть эту роковую мысль, написанную на ужасной действительности, которая меня окружает, на грязных и вспотевших плитах пола, на бледном луче ночной лампы, на грубой ткани моего холщового халата, на темной фигуре часового, сумка которо-

го блесит сквозь решетки каземата, — как уже мне чудится, какой-то голос шепчет мне на ухо: «Приговорен к смерти!»

II

Было прекрасное августовское утро.

Уже три дня как начался мой процесс; три дня как мое имя и преступление собирали каждое утро целые кучи зрителей, которые усаживались на скамьях присутственной залы, как коршуны около трупа; три дня как вся эта фантазмагория судей, свидетелей, адвокатов, королевских прокуроров сновала и проходила передо мною, то грубая, то кровожадная, всегда мрачная и роковая. Первые две ночи от беспокойства и страха я не смыкал глаз; третью спал от скуки и усталости. В полночь я оставил присяжных за обсуждением моего преступления. Меня опять привели к соломе моего каземата, и я тут же заснул глубоким сном, сном забвения. Это были первые часы покоя после многих дней.

Я был еще погружен в самую глубь этого глубокого сна, когда меня разбудили. На этот раз — мало было тяжелой поступи и подкованных башмаков тюремщика, звяканья связки ключей, дикого скрежета замков, — чтоб разбудить меня из летаргии, понадобился его гру-

бый голос над моим ухом и его жесткая рука на моем плече.

— Вставайте же!

Я открыл глаза и, испуганный, сел на койке. В эту минуту из узкого и высокого окна каземата я увидел на потолке соседнего коридора — единственном небе, которое я мог видеть, — тот желтый отблеск, в котором глаза, привыкшие к тюремному мраку, так хорошо умеют узнавать солнце. Я люблю солнце.

— Хорошая погода, — сказал я тюремщику.

С минуту он молчал, как будто недоумевая, стоит ли тратить на это слова, потом с некоторым усилием проворчал:

— Пожалуй, что и так.

Я неподвижно сидел на койке, полусонный, улыбающийся, и пристально смотрел на тихий золотой отблеск, озарявший потолок.

— Прекрасный день, — повторил я.

— Так-то оно так, — отвечал тюремщик, — а вас ждут.

Эти немногие слова, как нитка, останавливающая полет насекомого, насильственно отбросили меня в действительность. Я вдруг увидел, как в блеске молнии, мрачную залу асизов, подкову судей, обитую красною как кровь материей, три ряда свидетелей с бессмысленными лицами, двух жандармов с обоих концов моей

скамьи и черные волнующиеся платья и головы толпы, кишашие в тени, и остановившиеся на мне пристальные взгляды двенадцати присяжных, которые бодрствовали, в то время как я спал.

Я встал. Зубы мои стучали, руки тряслись и не могли найти платья; в ногах была слабость. На первых же шагах я споткнулся, как через силу обремененный носильщик, однако побрел за тюремщиком.

Два жандарма ждали меня у порога моей кельи. На меня опять надели кандалы. В них был маленький мудреный замочек, который они тщательно заперли. Я не сопротивлялся. Они надевали машину на другую машину.

Мы прошли внутренний двор. Утренний воздух оживил меня. Я поднял голову. Небо было ясно, и теплые лучи солнца, разрезанные длинными дымовыми трубами, чертили большие углы света по вершинам высоких и мрачных стен тюрьмы. Погода в самом деле была прекрасная.

Мы поднялись по круглой винтообразной лестнице, прошли коридор, потом другой, потом третий, потом отворилась перед нами низенькая дверь. Теплый воздух, растворенный шумом, обдал мое лицо. Это было дыхание толпы в зале асизов. Я вошел.

При моем появлении поднялся шум от оружия и голосов. Скамьи с грохотом задвигались, перегородки затрещали, а в то время как я проходил по длинной зале меж двух масс народа, облицованных солдатами, мне казалось, что я центр, к которому стремятся нити,двигающие все эти лица с разинутыми ртами.

В эту минуту я заметил, что был без кандалов, но не могу припомнить, где и когда мне их сняли.

Вдруг настало глубокое молчание. Я дошел до своего места. В ту же минуту, как прекратился хаос в толпе, он прекратился и в моих мыслях. Я вдруг понял ясно, что до сих пор мне только мерещилось, понял, что настала решительная минута и что я стоял тут для заслушивания приговора.

Непостижимое дело. Эта мысль теперь вовсе не ужаснула меня. Окна были отворены; воздух вместе с городским шумом свободно врывался с улицы, зала сияла, как будто свадебная; веселые лучи солнца чертили там и сям светлые четверугольники рам, продолговатые на полу, косые на столе и ломаные по углам стен, а в сверкавших снопах света у окон каждый луч вырезывал в воздухе большую призму золотой пыли.

Судьи в глубине залы смотрели самодовольно — вероятно от радости, что скоро покончат. Лицо президента, мягко освещенное отражением одного стекла, было как-то особенно добро и кротко; молодой ассессор почти весело, пощипывая свои брыжи, разговаривал с какой-то молоденькой дамой в розовой шляпке, сидевшей позади него, очевидно по протекции.

Одни присяжные казались бледными и убитыми, но это было, вероятно, от усталости и бессонной ночи. Некоторые из них зевали, и ничто в них не предвещало людей, которые произнесли смертный приговор; на этих добрых мешанских лицах я прочел только большое желание выспаться.

Прямо передо мною окно было совсем открыто. Я слышал, как на набережной смеялись продавцы цветов, а на краю подоконника какая-то хорошенькая желтая травка, выросшая во шве двух плит и вся пронизанная солнечным лучом, играла с ветром.

Каким же образом роковая мысль могла зародиться среди таких грациозных ощущений? Залитый воздухом и солнцем, я не мог думать ни о чем больше, как о свободе; надежда заблестала во мне, как день блистал вокруг меня, и я доверчиво ждал приговора, как ждут освобождения и жизни.

Между тем прошел мой адвокат. Его ждали. Он только что славно и с аппетитом позавтракал. Дошедши до места, он с улыбкой наклонился ко мне:

— Я надеюсь.

— В самом деле? — отвечал я, облегченный и тоже улыбающийся.

— Да, — начал он снова. — Я еще ничего не знаю об их решении, но, вероятно, они отстранят премидитацию, и тогда только навсегда в каторжную работу.

— Что вы, милостивый государь? — возразил я с негодованием. — Уж в тысячу раз лучше смерть!

Да, смерть! «А потом, — нашептывал мне какой-то внутренний голос, — чем я рискую, сказав это? Когда же видано было, чтоб произносился смертный приговор не в полночь, при факелах, не в черной и мрачной зале какою-нибудь холодной и дождливою зимнею ночью, но в августе, в восемь часов утра, в такой прекрасный день и такими добрыми присяжными... Невозможно!» И глаза мои снова занялись хорошеньким желтым цветочком на солнце.

Вдруг президент, ждавший только адвоката, пригласил меня встать. Солдаты сделали на караул; как будто от электрической искры, все собрание вдруг встало. Какая-то незначащая

фигурка, сидевшая за столом пониже трибунала (это, я думаю, был гrefье — *секретарь суда*), стала говорить и прочла приговор, произнесенный присяжными в мое отсутствие. Холодный пот выступил из всех моих членов. Я прислонился к стене, чтоб не упасть.

— Адвокат, не имеете ли вы чего-нибудь сказать насчет приложения наказания? — спросил президент.

Я бы, кажется, тут все сказал, но ничего не пришло мне в голову. Язык мой прильнул к гортани.

Защитник встал.

Я понял, что он будет стараться смягчить приговор присяжных и вместо произнесенной ими песни выставить на вид другую, ту самую, которая недавно так меня возмутила.

Видно, негодование во мне было слишком сильно, что проступило сквозь тысячи ощущений, овладевших моими мыслями. Мне захотелось громко повторить ему то, что уже сказал: «Уж в тысячу раз лучше смерть!» — но у меня захватило дыхание и я мог только грубо остановить его за руку и закричать с судорожною силой:

— Нет!

Генеральный прокурор возражал адвокату, а я слышал его с бессмысленным довольством.